

Алексей КАЗАКОВ

КЛЮЕВ – ИМЯ СОБСТВЕННОЕ

Каждая встреча с поэзией (включая и прозу) Николая Клюева – это погружение в «поддонный» слой языковой стихии, царствующей вширь и вглубь. Клюевский поэтический этнос столь загадочен и богат, что его приходится постигать годами, десятилетиями, а потомкам останется века.

Один только хоровод имен собственных насчитывает у него более двух тысяч. И каждое из них то отдаляется, то приближается, наполняя стих-прозу новым смыслом.

Свою Книгу Жизни поэт складывал из впечатлений детства, где в «тишине избяной» звучали песнопения его незабвенной матушки Парасковьи Димитриевны. «...Родительница моя была садовая, а не лесная, во чину серафимовского православия. Отроковицей видение ей было: дуб малиновый, а на ней птица в жемчужном оплечье с ликом Пятницы-Параскевы. Служила птица канон трем звездам, что на богородичном плате пишутся; с того часа прилепилась родительница моя ко всякой речи, в которой звон цветет знаменный, крюковой, скрытный, столбовой. ...Памятовала она несколько тысяч словесных гнезд стихами и полууставно, знала Лебеда и Розу из Шестокрыла, Новый Маргарит – перевод с языка черных христиан, песнь искупителя Петра III, о христовых пришествиях из книги латинской удивительной, огненные письма протопопа Аввакума, индийское Евангелие и многое другое, что потайно осоляет народную душу – слово, сон, молитву, что осолоило и меня до костей, до преисподних глубин моего духа и песни...», – вспоминал Клюев в пору своей творческой зрелости. И добавлял: «Все, что писал и напишу, я считаю только лишь мысленным сором и ни во что почитаю мои писательские заслуги. И удивляюсь, и недоумеваю, почему по виду умные люди находят в моих стихах какое-то значение и ценность. Тысячи стихов, моих ли или тех поэтов, которых я знаю в России, не стоят одного распевца моей светлой матери». Как говорила родительница поэта: «В тебе, Николаюшка, аввакумовская слеза горит, пустозерского пламени искра шает. В вашем колене молитва за Аввакума застойной была и праотеческой слыла. Как сквозь сон помню, поскольку ребяческий разум крепок, приходила к нам из Лексинских скитов старица в каптыре, с железной панагией на персях, отца моего Митрия в правоверии утверждать и гостила у нас долго... Вот от этой старицы и живет памятование, будто род наш от Авакумова кореня повелся...».

Автобиографическая проза поэта «Гагарья судьбина» впитала все основные житейские коллизии словотворца, «олонецкого Лонгфелло», как он сам себя называл.

С потаенных книг русских сектантов-раскольников и еретиков начинался литературный путь, а точнее, литературная тропа «песнописца Николая», ведущая от склонов Андомы-горы в родном Вытегорье. Подобные сборники «слов и поучений» долго сопутствовали молодой страстной душе в бесконечных скитаниях по древнерусским монастырям и святым местам России, соседствуя с куском хлеба в дорожном сундучке. Житейские начальные вехи поэта: дом деда Тимофея в Вытегре, изба родителей в Коштугах и Макачеве, отроческие годы в Соловецком монастыре, паломничество в столицы – Петербург и Москву, участие в революционных событиях 1905-1906 годов, тюремная отсидка за прокламации и «апостольские речи» в губернской камере в Петрозаводске, встреча с издателем В.С. Ми-

ролюбовым и первые публикации в журнале «Трудовой путь», переписка и личные встречи с А.А. Блоком, выход первых поэтических книг «Сосен перезвон» (1911) с посвящением: «Александру Блоку – Нечаянной Радости» и «Братские песни» (1912)...

Языковая сила клюевских «Песен из Заонежья» вызвала «трубный гром» в столичной и провинциальной прессе: появились десятки восторженных рецензий. Мужик-поэт восхищал знатоков и утонченных ценителей словесного искусства. «Пафос поэзии Клюева – редкий, исключительный. Это пафос нашедшего», – замечал Н. Гумилев.

Характерна самооценка Н. Клюева, высказанная им в 1919 году: «Ясновидящий народный поэт, приковавший к себе изумленное внимание всех своих великих современников. Сын Олонецких лесов, потрясший словесным громом русскую литературу. Рабоче-крестьянская власть не преминула почтить Красного баяна, издав его писания наряду с бессмертными творениями Льва Толстого, Гоголя и т.п.».

Поэтические монологи Клюева пели славу одухотворенной природе с ее «тайной тихой поддонной».

«Я думаю, что священный сумрак гумна не менее священен, чем сумрак готических соборов», – признавался Николай Алексеевич (1923).

Поэт-сказитель, выступая против «лампадного православия» официальной церкви, нес в народ «открытую религиозность» пантеизма, призывая ставить свечи «мужицкому Спасу» – «Богу хлебному» с ликом пшеничным и «брадою солнцевласой», где даже православные святые Борис и Глеб толковались как святые-пахари, так и говорилось: Борис-хлебник. Народная мифология северного Поморья в полный голос прозвучала в строфах Клюева, рожденных благодарной наследной памятью о крестьянской избе и русской печи:

*Олений гусак сладкозвучнее Глинки
Стерляжьби молоки Верлена нежней,
А бабкина пряжа, печные тропинки
Лучистее славы и неба святых.*

Описывая через народный уклад-быт духовную среду русского крестьянина, поэт понимал, что душа человека и «изба – святилище земли» есть единое целое (позднее бесы революции и классовой междоусобицы разом покончили и с душой, и с избой России...).

Самородное словотворчество Н. Клюева вызывало жгучий, неподдельный интерес в столичных салонах и литературных кружках. «Литературные собрания, вечера, художественные пирушки, палаты московской знати... мололи меня пестрыми жерновами моды, любопытства и сытой скуки», – вспоминал Клюев о своих хождениях по столицам. Характерно, что его поэтический дар высоко ценили поэты-современники, далекие от клюевской духовной ориентации и манеры письма: А. Блок, В. Брюсов, А. Ахматова, Н. Гумилев, Г. Иванов, З. Гиппиус...

Так, Н. Гумилев пророчески предсказал «возможность поистине большого эпоса» в творчестве Клюева еще в 1912 году.

Последующие сборники поэта – «Лесные были» (1913), «Мирские думы» (1916), «Песнослов» в двух книгах (1919), «Изба и поле» (1928) – выдвинули Н.А. Клюева в лидеры целого эстетического направления в отечественной литературе, получившего название: новокрестьянская поэзия. В русле этого понятия складывалось и позднейшее творчество русских поэтов: Сергея Есенина, Алексея Гатова, Петра Орешина, Александра Абрамова (Ширяевца), Сергея Клыкова, Василия Наседкина...

«Я же ишу в людях лика и венца над головой... Лику клянюсь и венца трепещу. Так и живу, радуясь тихо... Да знаменуется и на мне грешном свет от Лика Единого», – утверждал Клюев (1922).

Особая глава творческой биографии Клюева – сложные взаимоотношения с Сергеем Есениным. Целое десятилетие (1915 – 1925) длилась та непростая дружба, отразившаяся в обоюдных письмах, стихах-посвящениях, личных встречах. И как итог – былинный «Плач о Сергее Есенине» (1926), написанный Клюевым после внезапной гибели младшего товарища в декабре 1925 года.

В начале 30-х годов в печати развернулась травля Клюева и других «крестьянских» поэтов, чей путь, во многом по причине литературных доносов-рецензий, завершился в 1937 году в подвалах Лубянки и лагерях советского ГУЛАГа. Новейшие писатели-пролетарии,

призывавшие с первобытным инстинктом варваров сжечь Рафаэля во имя прекрасного завтра, считали поэзию Клюева «апологией идиотизма деревенской жизни» (А. Безыменский, 1934), понимали его стихи как «как власть кулачью, построенную на Богом данной природе» (О. Бескин, 1930).

Отвергая неистовую пошлость пролеткультовской и напостовской критики, Клюев прислушивался лишь к собственному внутреннему голосу, говоря сокровенное: «Слушал Россию, какой она была 60 лет тому назад, и про царя и про царицу слышал слова, каких ни в какой истории не пишут, про Достоевского и про Толстого – кровные повести, каких никто не слышал... удары Царя-колокола в грядущем... парастас о России патриархальной к золотому новоселью, к новым крестинам... В углу горницы кони каким-то яхонтовым, вещим светом зарились, и трепыхала большая серебряная лампада перед образом Богородицы» (1925).

Это и о себе Николай Алексеевич сказал: «А стая поджарых газет скулила: кулацкий поэт!». В ответ своим доморощенным критикам Клюев писал в 1932 году:

*Я гневаюсь на вас и горестно браню,
Что десять лет невучему коню,
Узда алмазная, из золота копыта,
Попона же созвучьями расшита,
Вы не дали и пригоршни овса...*

Но «олонецкий ведун» продолжал жить, творить в грозовой тиши свой «огнепальный стих», высшим проявлением которого стали его поэмы «Мать-Суббота», «Заозерье», «Деревня», «Погорельщина», «Разруха», «Песнь о Великой Матери», «Соловки», – поэмы, составившие истинный эпос своей эпохи, изустную память о том, как «кровью рудеют России уста»... Но одновременно то был и эпос веры поэта в то, что «Россия, как Божья мысль, осталась великой» – в ней сокрыты «неистребимое онтологическое ядро», философия надежды на обретение духа из праха погорельщины...

Клюев все время пытался докричаться в своих стихах до сознания «пригвожденной России», он предупреждал о грядущей Разрухе «под скрип иудиной осины». Но бесконечная тревога олонецкого прорицателя, вестника близкой беды, не была услышана русским народом...

Сгнувшие стихи, еще только вызревавшие поэмы Клюева «Кремль», «Нарым» и другие вещи строки – свидетельство стоического упорства художника, пытавшегося сохранить человеческий облик в трагических обстоятельствах бытия-безвременья. Это еще раз подчеркивает мысль о том, что «культура творится в исторической жизни народа. Не может убогий, провинциальный исторический процесс создать высокой культуры...» (Г.П. Федотов. «Лицо России»).

В живом контексте той культуры всегда будет слышен лироэпический голос Клюева – «первого народного поэта нашего, первого, открывающего нам подлинные глубины духа народного» (Р.В. Иванов-Разумник).

В начале 1934 года поэта арестовали органы ОГПУ (после очередного печатного доноса в «Литературной газете»). Произошло это в Москве при прямом идеологическом участии редактора «Известий» И. Гронского (позднее возглавлял журнал «Новый мир»), И. Сталина и Г. Ягоды, санкционировавших арест поэта. Протокол допроса сохранил мужественный ответ Клюева следователю, хотя в том протоколе ощущается и определенная нота провокационности (инспирированный подгон под очевидный ответ, известная практика советской охраны того времени). «Я считаю, что индустриализация разрушает основу и красоту русской народной жизни, причем это разрушение сопровождается страданиями и гибелью миллионов русских людей... Окончательно рушит основы и красоту той русской народной жизни, певцом которой я был, проводимая Коммунистической партией коллективизация. Я воспринимаю коллективизацию с мистическим ужасом, как бесовское наваждение...», – говорится в том протоколе допроса поэта. Среди прочего в вину поэту ставились его публичные чтения поэмы «Погорельщина», подлинный реквием по гибнущей России. Как и то, что поэт, стоя в Москве на церковной паперти, собирал милостыню от своих почитателей...

Этапирован он был в Томскую область, в Колпашево, откуда писал С. Клычкову: «Я сгорел на своей Погорельщине, как некогда сгорел мой прадед протопоп Аввакум на костре пустозерском».

Вскоре, благодаря хлопотам М. Горького и певицы Н. Обуховой, Клюева перевели в Томск, «на целую тысячу верст ближе к Москве». О своей ссылке поэт писал: «Люди здесь люто голодные, безблагодатные и сумасшедшие от несчастий. Каким боком прилепиться к этим человекообразным, чтобы не погибнуть? Но гибель неизбежна. Я очень слаб... Я из тех, кто имеет уши, улавливающие звон березовой почки, когда она просыпается от зимнего сна».

В марте 1936 года Клюев был вновь арестован в Томске как «участник церковной крестьянской группировки (провокация Томского НКВД, придумавшего мифический «Союз спасения России»)». Поэт не признал себя виновным. В марте 1937 года он еще успевае́т послать на волю последнее стихотворение «Есть две страны: одна – Больница...».

Сбылись его пророческие сны-предчувствия о «земле прокаженной», покинутой святыми Русской земли. Испытав на себе «проказу карфагенскую», поэт «чудных струнных звуков» прошел есенинским жертвенным путем, сживаясь с мукой молчания еще не услышанной песни, что «тихо играла в груди». Это из клюевских ясновидческих снов те грезы: «Стал к окну, и в лицо мне горний свет бьет. Обернулся – не одна, а три девки позади меня на лавке сидят... Прядеи они, нитки прядут, прялицы крашенные и веретена со звоном. Не опомнился я, нитками весь запряден... Перерезали мне нитки горло, как петля удавная, и умер я в единый миг, плоть девкам оставя, а сам же лебяжьим лѣтом лечу над великим озером. Тихи и безбрежны воды озера, вечная заря над ним, о которой поется «Свете тихий» по церквам русским. Паруса безмятежные в заре, в воздухах и в водах. Лѣт лебединый во мне и стихира в памяти:

*Парусами в онежской хляби
Загляделся царьградский закат!*

Но сон аспидный одолел сон блаженный: «Завтра казнь... Безысходна тюрьма и не вылизать языком белых букв на черном аспиде...».

13 октября 1937 года «тройка» приговорила Клюева к расстрелу, спустя несколько дней (в ночной час его 53-летия) поэт был расстрелян с очередной партией заключенных: конвейер смерти не справлялся с потоком жертв, их учет велся не персонально, а по могильным ямам, когда отмечался лишь срок их заполнения...

Могила поэта до сих пор не известна. Миновав житейские версты, он, «человек вселенского сознания» (вспомним мысль Достоевского), последний Боян Руси, умер, как «зола в печурке», без чаемого «малинового погоста» в родной северной стороне...

Нарымская смертная обитель не сломила дух поэта, дав ему твердую уверенность в том, что:

*Русь нетленна, и погостские кресты –
Только вехи на дороге красоты!*

Еще в конце 20-х годов Николай Клюев писал с аввакумовской грозовой нотой отчаянья: «Расскажите им, песни, что заросли русские поля плакун-травой невылазной, что рыдален шум берез новгородских, что кровью течет Мать-Волга, что от туги и скорби своего панцирного сердца захлебнулся черной тиной тур Иртыш – Ермакова братчина, червонная сулея Сибирского царства, что волчьим воем воеют родимые избы, замолкли грановитые погосты и гробы отцов наших брошены на чумных и смрадных свалках. Увы! Увы! Лютой немочью Великая, непрощенная и неприкаянная Россия» (1929).

И все же вещие птицы Севера успели разнести по белу свету «многострунные колдовские свирели» клюевских мирских песен, славящих Русь-Китеж. Из глубин истории они были освящены летописным гласом Лазаря Муромского, земляка поэта: «Аз же слышал от уст его таковыя, возрадовался радости великою и пад поклонихся ему и отъидох с миром, и хвалих Бога моего от всего сердца... Аз же страдальческим венцом увязахся и воспомянух писание: многим бо волнам к камени приражающимся...».

«Олонецкий Лонгфелло» слагал свои строки о «гагарных туманах» и «златоглавых Кижках», образуя стройный «терем красок». Славословя Русь-Олоню, Русь-Китеж, Клюев взывал к заповедным тайникам души человеческой, веруя в силу и святость поэтического образного слова, что способно еще сберечь «золоторунную тишь»...

Лирический песнослов Николая Клюева согреет благодатным теплом «жданного дня» летней полной красоты, зримой будущности Нечаянной Радости «путеводных уз». Художник,

«уразумевший единую душу во всем», Клюев и в своих размышлениях выражал философское состояние творчества, говоря: «Не перейти за черту человеческой речи – подвиг великий, для этого нужно иметь великую душу, а главное, веру в жизнь и благодаренье за чудо бытия – за милые лица, за высокие звезды, за разум, за любовь... Но я слушаюсь жизни, того, что неистребимо никакой революцией, что не подчинено никакой власти и силе, кроме власти жизни».

И голос Евгения Баратынского из XIX века как бы вторит этому душевному состоянию:

*Не ослеплен я музою моею:
Красавицей ее не назовут,
И юноши, узрев ее, за нею
Влюбленною толпой не побегут.
Приманивать изысканным убором,
Игрою глаз, блестящим разговором
Ни склонности у ней, ни дара нет;
Но поражен бывает мельком свет
Ее лица необычим выраженьем,
Ее речей спокойной простотой;
И он, скорей чем едким осужденьем,
Ее почитит небрежной похвалой.*

«Клюев – пришелец с величавого Олонца, где русский быт и русская мужицкая речь покоится в эллинской важности и простоте. Клюев народен потому, что в нем сживается ямбический дух Баратынского с вещим напевом неграмотного олонецкого сказителя», – писал О.Э. Мандельштам о природе клюевского дара («Письмо о русской поэзии», 1922).

Резьба ветхого деревенского ставня, узорчатый шелонок кровли, бирюза небесная и крик отлетающих журавлей – все это пленяло и вдохновляло олонецкого ведуна, сказавшего о себе:

*Устами моего сердца
Поют небо и земля...*

Вот и близкому по духу Николаю Гумилеву он надписал свой сборник «Сосен перезвон» с убеждающей верой: «...Мы войдем для общей молитвы на хрустящий песок золотых островов».

Такой общей молитвенной соборной радостью стали и клюевские братские песни-сказания. Они – зримое доказательство, пример неистребимого «всеславянского писания» русского народа: от протопопы Аввакума до Клюева и Есенина, Шукшина и Рубцова...

Как возглашал с огневой истовой верой-пророчеством великий духом предок поэта из своего Пустозерского заточения-узилища: «...И вы, Господа ради, чтущии и слышашии, не позарите просторечию нашему, понеже люблю свой русской природной язык... Я и не брегу о красноречии и не уничижаю своего языка русского».

Блистаньем своевольным отмечен и лирический русский стих Н. Клюева в увядаемом цвете его «полесной яблони-песни, чьи цветы плащаницы духмянней».

Не от таких ли песен происходит душевное обновление и очищение сердца?..

Колосится новое семя «в живых веках», как и предрекал поэт: «И вспомнит нас младое племя на песнотворческих пирах». Пророческий лик Николая Клюева отображен в вечной красе простой русской радости – Природе:

*Цвету я, как луг, избяными коньками,
Улыбкой озер в песнозвонной тиши...*

И по-прежнему захватывает дух наш от слышимой «изглаголанной музыки» клюевских песен-пчел – «солнечных и золотых».

Неувядаемым цветом, вечно зеленеющей вехой ожил сегодня благодатный поэтический мир художественных образов поэта.

Вновь над отчей Андомой-рекой, что близ родительского погоста Ключевского Вытегорья, «по Онегушке шумливой» звучат свирельные звуки олонцкого ведуна, слагавшего еще на заре XX века свою заветную святорусскую северную бывальщину...

Как писал о нем Ф. Абрамов: «...Ключев... был сложным явлением, без которого не понять двадцатые годы, культуру XX века»:

*Где скрылся он – тот огнепалый стих?
Он где-то в нас – под нашей тайной клетью.
Знать, так живуч смиренный тот жених –
Сей Аввакум двадцатого столетья!
Он сам себе был жертва и судья.
Он крепко спит – крамольник из Олонца,
Но этот крин, та звонкая струя
Из тех лесов, где столько тьмы и солнца.*

.....
*Пускай придут и вспомнить и почтить,
И зачерпнуть из древлего колодца...
Мы так его стараемся забыть,
А все забыть никак не удается!*

Истинно так! Нет, не погибла «наша русская правда», презрев «железное быдло» чужно-бетонных пролеткультов. Философским умиротворением веет от ключевского убеждения-истины: «Не железом, а красотой купится русская радость». Еще слышен «далеко по синим поречьям благодатный Печерский звон»:

*Мы – ржаные, толоконные,
Знаем Слово алатырное,
Чтобы крылья громобойные
Вас умчали во всемирное
Там изба свирельным шоломом
Множит отзвуки павлиные...
Не глухим, бездушным оловом
Мир связать в снопы овинные.
Воск с медынью яблоновою, –
Адамант в словостроении,
И цвести над Русью новою
Будут гречневые гении.*

После таких стихов ясно понимаешь: жива Русь-Китеж древлего светлоярского письма, жива «лебедь-Россия» на своих родных синезерьях!

Прав был поэт своей родовой песней-молитвой, в коей провещал: «Да славятся уста солнца и сосцы матери-ковриги. Хлеб победит!».

Звучать той песне «от велика Новгорода» до «Обонежския пятины погоста Пятницы Парасковии усадища Соловьевой Горы», на просторах которых «песельник Николашка по назывке Ключев славу пел, участлив поклон воздавал».

Вдохновляясь теплом печи отчего дома и преклоняясь «перед мужицким мозольным лаптем», Николай Ключев развертывал свою жизнь художника, странника, правдолюбца «от избы до дворца, от песни за навозной бороной до белых стихов в царских палатах»,

¹ Стихи Николая Тряпкина.

воскликая проповедным словом: «Не изумляясь, но только сожалея, слагаю я и поныне напевы про крестные зори России. И блажен я великим в малом перстами, которые пишут настоящие строки, русским голубиным глазам Иоанна, цветущим последней крестной любовью...» («Гагарья судьбина»):

*Я песнописец Николай,
Свидетельствую, братья, вам!*

Не в этой ли стиховой Литургии Поэта слышится нам его земное верование, утверждающее саму Жизнь, явленную в несоревнившихся рукописях:

*Он жив, олонецкий ведун,
Весь от снегов и вьюжных струн
Скуластой тундровой луной
Глядится в яхонт заревой!*

К какому канону восходит этот поэтический глас? На каком Афоне Русского Севера произросли глаголы-бессмертники «олонецкого Лонгфелло», ставшего поэтическим Сфинксом России, ее вечным легендарным мифом?..

«У меня не мера какая-нибудь и не свирель, как у других поэтов, а жернова, да и то тысячепудовые. Напружишь себя, так, что кости затрещат, – сдвинешь эти жернова малость. Пока в движении камень, есть и помол – стихи, приотдал малость – и остановятся жернова, замолчат на год, на два, а то и больше. Тяжел труд мельника», – признавался поэт в сокровенную минуту.

«Никогда взыскующие града не переведутся на Руси», – истина, впрямую объясняющая духовный опыт Клюева. Он был из тех редких русских людей, подвижников-прорицателей, кому было дано слышать потаенный звон колоколов затонувшего Китеж-града. Поэт был настоящим китежанином среди окружавшего его пролеткультовского колхозного ора-разгула...

Китеж – образ, проходящий по всей русской истории. Под символические воды Светлояра ушли не только жители непокоренного града: старики, женщины, дети. Китежанами стали через столетия русские раскольники, начиная с легендарного протопопа Аввакума, интеллигенты-разночинцы, философы, художники, писатели. Все они создавали, как противостояние, свой Град, в пространстве которого протекало житнетворчество личности:

*Дымилась водь, скрипела гать,
Всё прибывали китежане...*

Для Клюева Русь-Китеж не только метафора чисто литературного свойства, но, прежде всего, основное свойство личности Бытия – ежечасное, ежедневное ощущение собственной поддонности житийного существования. Как о том написал другой русский поэт-китежанин:

*И меркнет, стихая, мерца,
Немыслимой правды преддверие –
О таинствах Русского края
Пророчество, служба, мистерия.
Град цел! Мы поём, мы творим его,
И только врагу нет прохода
К сиянию Града незримого,
К заметной святыне народа².*

Символический знак Китеж-града занимает далеко не последнее место в частотном словаре Клюева-поэта, став градообразующим мифонимом-топонимом во всем его худо-

² Стихи Даниила Андреева из цикла «Святые камни» («Большой театр. Сказание о Невидимом граде Китеже»).

жественном наследии. Как ключевой образ, топоним КИТЕЖ раздвигает границы (достаточно условные) имени собственного, вырастая до обобщенного образа всей Древней Руси (вспомним клюевское признание: «Русь не вместить в человечьи слова...»). Помня о первоначальном значении слова-понятия (*Китеж – сторожевой, хранимый*), Клюев трансформирует легенду о чудесном спасении в водах Светлояра града Китежа времен нашествия Батыя в современную ему явь-быль эпохи послереволюционных лет советской России. Спасая от видимого недруга-врага свой поэтический Китеж со всем наследием святоотеческих ценностей и реликвий, поэт утверждает: «Уму – республика, а сердцу – Китеж-град». А в «Песне Гамаюна» (1934), насыщенной апокалиптическими видениями-пророчествами, Клюев воссоздает царство Антихриста, в котором вместо Града Грядущего новый революционный мир пленного народа русского, взятого в рабский полон:

*То Китеж новый и незримый,
То беломорский смерть-канал...*

Строя сакральное пространство Китежа, поэт видит в нем свое духовное родословие, идущее от «китежских ворот». В эпической «Песни о великой матери» он в нескольких строках показывает исток своего свирельного слога:

*В самосожженческом уезде
Глядятся звезды в Светлояр, –
От них мой сон и певчий дар!*

И в том вещем сне слышится слово поэта: «Мой же мир, Китеж подводный, там все по-другому. Рассказывая про тайны этого мира, я со страхом и трепетом разгребаю словесные груды, выбирая самые точные образы и слова для выявления поддонной народной правды. Ни убавить, ни прибавить словесной точности я не дерзаю, считаю за грех. Самоцветный поддонный ум может быть судим только всенебесным собором».

Стих-вера, стих-поверье, молитвенное очищение, просветление, преображение – таков духовный глас человека-китежанина, утверждающего выстраданную мысль: «Спасешь себя – вокруг спасутся тысячи» (Ф.М. Достоевский).

«Я подавлен величиной данной мне глыбы – она подобна утесу...», – передавал Клюев внутреннее ощущение собственного избранничества в одном из ранних писем к Брюсову (1911).

Отзвуком-молвой заветной Книги Жизни поэта звучат строки рун «Калевалы» – карело-финского народного эпоса, столь близкого сердцу Клюева:

*Мне пришло одно желанье,
Я одну задумал думу, –
Быть готовым к песнопенью
И начать скорее слово,
Чтоб пропеть мне предков песню,
Рода нашего напевы.*

Земной космизм поэзии Клюева-рунопевца невольно подводит нас к мысли о том, что он был на этом свете в роли русского Бога-ведун³, который все про всех знал...

Здесь уместно такое глубинное понятие, как *Богословие Поэзии*. Для Клюева оно очевидно. Оттого его ранние «Мирские думы» воспринимались христоролюбивым народом как священные песнопения-псалмы и разносились тысячеустно окрест всяя Руси...

Равно справедлива и такая моя мысль: русская литература родилась с появления «Слова о полку Игореве», а завершилась лиро-эпической поэзией Клюева. Вокруг этих худо-жественных столпов – частности больших творческих откровений.

³ Понятие «русские Боги» ввел в обиход отечественной культуры Даниил Андреев, знаменательно упомянувший в своем трактате «Роза мира» имя Николая Клюева.

Да, он ведал, что творил на этой земле, обладая способностью жить одновременно в разных мирах, преодолевая время. По дорогам мировой цивилизации поэт-Мессия – этот русский Нострадамус – так же легко и свободно ходил, как по близким ему деревням Андомы-реки. Со своим былинным батожком-посохом Ключев прошагал из дома в дом, из деревни в деревню, из одной части света в другую, из своего XX столетия в небывало отдаленные времена Античности и Средневековья, включая и планетарные миры (причем осмысленные в реальном пространстве обычной деревенской избы, – вспомним кодовую ключевскую строку «изба – святилище земли»):

*Русь течет к Великой Пирамиде,
В Вавилон, в сады Семирамиды...*

.....
*Над Богдадом по моей кончине
Заширяют ангелы крылами.*

«Чувствую, что я как баржа пшеничная нагружен народным словесным бисером. И тяжело мне подчас, распирает певческий груз мои обочины, и плыву я как баржа по русскому Ефрату – Волге в море Хвалынское, в персидское царство, в бирюзовый камень. Судьба моя – стать столпом в храме Бога моего и уже не выйти из него пока не исполнится все», – прозвучало исповедальное ключевское слово.

Повторюсь: список имен собственных в произведениях Ключева – огромен! Поэт выстраивал их подобно Нерушимой Стене. Казалось, он все объял и осмыслил от Авраама, Адамовой травы, Алконоста-птицы и Анзерского скита до Звездотечной Коляды, Лидда-града, Лопского погоста, Мужижкого Спаса, Олонецкого бора, Повенца, Пролеткульта, Рублевской Руси, Шестокрыла, «Свете тихого»...

И в сонме этих знаковых имен имя самого Ключева не затерялось, став еще одним символом Святой Руси наряду с летописными сводами-памятниками, иконописными ликами Андрея Рублева, храмовыми фресками Дионисия и многовековой природной красотой увалов Андомы-горы, что стоит надежным береговым стражем вдоль величавого Онега – «чаши гагарьей, ее удоля»...

И, как последнее признание, стих, утверждающий веру Поэта в собственное имя предназначение:

*Я – посвященный от народа,
На мне великая печать,
И на чело свое природа
Мою прияла благодать.*

Этой пришедшей ключевской благодатью и спасается русская речь-слово от забвения.